

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко\*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

## Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмирившая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

---

\* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.

хорошо одетых людей неистово с радостным ревом качала какого-то пожилого седого офицера. Смешно было видеть, как его тяжелая круглая туша взлетала над шляпами и тяжело погружалась в них.

Но радоваться Одессе долго не суждено было. Вечером подул ветерок. Слухи, слухи, сеявшие в сердце тревогу и опустошение. У ограды городского сквера я слышал, как один хорошо выбритый мужчина в светлой шляпе говорил другому такому же:

— Ой, их будут бить. И как бить. Заплатите жидки. Будет вам свобода!

Вечером уже дул свирепый ледяной нордост. Город почуял несчастье и притаился. Над ним быстро плывущие со стороны моря сине-черные облака. Точно они знают о готовящемся и спешат на то место, где это несчастье должно случиться. Первые зрители погрома.

Сухие звуки оружейной пальбы растут и бегут к нам, в центр. На Молдаванке, говорят, начался погром. Бритые господа были правы. Ночью часов в 10 была получена бодрящая весть: "Погром ликвидирован, убитых нет, есть раненые. Срочно организуйте самооборону, держите связь. Будьте готовы".

Я бросился к друзьям. Меня познакомили с районными организаторами самообороны. У них я узнал, что оружия уже нет, что револьверы "до единого расхвачены" и что остались железные палки. Я взял железную палку.

Я жил на Ново-Рыбной улице в семье дальнего родственника. Как раз против ворот нашего дома находилось жандармское управление, в эти дни напминавшее штаб действующей армии. Здоровые огромные усатые верзилы то вбегали в ворота управления, то выбегали из них.

Помню скорбное осеннее утро. Небо, похожее на грязную простыню, и пустынные улицы, производившие впечатление зараженных и брошенных жильцами катакомб. Было около 8 часов утра. У наших ворот стоял знакомый молодой человек с заспанным желтым лицом, член самообороны. Он рассказал мне, что жандармы всю ночь готовились к работе, пробовали свои тяжелые наганы:

— Пили водку и пели "Коль славен". А знаете, — закончил он, — когда жандармы пьют водку, поют царские песенки и стреляют в своем тире, то надо ждать еврейской крови...

Он не ошибся. В это утро она уже была пролита. По Ново-Рыбной я дошел до Пушкинской. Со стороны Ришельевской доносился шум. Шум, холодающий сердце. Через несколько минут я увидел толпу убийц.

Портрет царя и хоругви плясали в их охмелевших и обессиленных руках. Рев, гиканье — точно в зверинце в час кормления. Момент — и мне казалось, что вся эта сумасшедшая орава — статисты на открытой сцене оперного театра, управляемые опытным и ловким режиссером, что они кувыркаются и поют дикие и пьяные песни по его заданию — и что через несколько секунд, когда зрителю все это надоест — они быстро улизнут за боковые декорации. Но, увы! Статисты эти, ведомые жандармами и полицией, в руках, измазанных свежей, еще теплой детской кровью, держали огромные железные ломы и сеяли настоящую, а не театральную смерть.

Впервые в жизни вижу еврейский погром. Незабываемая картина!

На серой мостовой, казавшейся равнодушной и присмирившей, разбитые фанерные ящики, старое длинное зеркало без стекла, с торчащими зазубринами, кучи разноцветной бумаги, пятна крови на разодранных подушках и пух, поднимавшийся высоко-высоко в грязное небо.

С тех пор церковные хоругви и портрет Николая стали в моем сердце ассоциироваться с еврейским пухом.

Вечером, на третий день погрома. Солнце, неуклюжее окоченевшее, ежась и озираясь, медленно ползло в свою конуру. Ему, как и нам, вероятно, не совсем приятно вспоминать об этих двух днях. Оно выражало сожаление. Как только оно исчезло за почерневшими крышами, с моря налетел холодный сырой ветер. Он приволок две тучи, окрашенные сажей, и нелепо растянул их над восточной частью города.

Ночью шел дождь, помогший всем умыться и придти в себя. Впечатление создалось такое, что все устали. И убиваемые, и убийцы, и мы все, и улицы, и небо, и кареты скорой помощи. Всем захотелось отдохнуть, дух перевести. И чуть-чуть вздремнуть.

Утром на Ришельевской и Канатной появились бело-кремовые, хорошо выпеченные знаменитые одесские калачи с крупным изюмом и воодушевляющим запахом только что испеченного хлеба. Они продавались на уличных, мокрых, не успевших еще обсохнуть ящиках. Их продавали худые, сморщенные, с заплаканными глазами еврейки.

Я иду в морг медицинского факультета. Там, говорят, "можно ознакомиться с итогами погрома". У входа в морг группы небрежно одетых людей. Людей, близко видевших смерть и потерявших поэтому способность бесечно говорить о ней.

Вонь гниющего тела и карболки. В большом квадратном светлом помещении длинные невеселые столы. На них лежат убитые студенты. Большинство из них — участники самообороны. Их человек 15. В форменных шинелях, в воротничках, густо и щедро измазанных кровью и грязью.

Запомнился один студент. Он производил такое впечатление, что через него прошла армия. Лица не видно было. Оно было покрыто грязью и кровью, но во впадинах и выпуклостях угадывались молодые, энергичные черты. Помню еще узенькую полоску запекшейся темно-коричневой крови — остатки разбитого и изуродованного рта, два ярких белых зуба, новенькая, очевидно, щегольская шинель, чудовищно измятая и загаженная конским пометом.

Рядом с этим студентом лежала девочка лет 7-8 с мягкими и нежными формами тела, с чистой светящейся улыбкой, будто вылепленная из голубо-желтого воска. И казалось, что лежит она в паноптикуме, но стоит завести над ней ключом звучащую пружину, и глаза у нее откроются, а круглая головка, немного дрожа, ритмически с легким скрипом начнет двигаться, то в одну, то в другую сторону.

Почему девочка попала сюда в университетский морг, куда свозили только студентов? Вероятно, по недосмотру, а может, так, "для контраста смерти".

В стороне от морга, в подвалах медицинского факультета лежали убитые громилы, провокаторы и переодетые городовые. Человек 40. Мне показалось, что вонь от них шла более густая и что она была одуряющая и тошнотворная. Я спустился по усыпанным деревянными опилками и гравием ступенькам. Убитые лежали точно на пляже в легких, непринужденных позах. Часть из них была без верхней одежды. С широкими руками, покрытыми волосами, с невысокими, плоскими лбами. Меня поразила одна особенность: все они были похожи друг на друга. Почти все они погибли в роковых неосвященных молдавских переулках, наивно доверившись им.

На еврейском кладбище можно было глядеть в холодное свинцовое небо и глотать теплые слезы. Мои усилия казаться мужественным и не плакать были тщетны.

Никогда в жизни не забыть мне этих сцен!